

**Гергерт В. Э.**

# **Мечта и грешная земля**

**(отрывки из книги)**

**Пермь, 1994**

## Как строили Широковскую ГЭС

### В палатках мечтаем... о бараках

С. 62–68

[...] По тому, как крепчал мороз, мы чувствовали, что приближаемся к Уралу. Однако мне казалось, что это не дыхание Урала, а обычные рождественские морозы, какие бывали у нас на родине, в Красном Куте, где они достигали иногда тридцати градусов.

Маленькие оконца в вагоне покрылись толстым слоем льда, стало так темно, что было трудно отличить день от ночи. Некоторые товарищи, главным образом молодые, начали чихать и кашлять. [...] Стенки вагона были очень тонкими и промерзали, поэтому те, кто постарше, проявили благоразумие и, ложась спать, надевали шапки. Я последовал их примеру, но сделал это, видимо, поздно и заболел, и врач тоже отправила меня в лазарет. Там было теплее и уютнее, чем в нашем вагоне, но настроение больными овладевало неважное, большинство хандрило. [...] Кто-то позвал к столу, пить чай, но я продолжал лежать и думать о жене и сыне. Сыну шел пятый год, а я для него не нарядил еще ни одной елочки. И вдруг, лежа на спине с закрытыми глазами, я ясно увидел его личико, большие глаза, восхищенные ярким сиянием елки, как это было в детских яслях на Стромьинке в 1939 году. Наш маленький мальчик лишен детского счастья, мать его борется за существование, а я ничем не могу помочь. Мне стало нестерпимо больно оттого, что не могу увидеть сына наяву, погладить его кудрявую головку. Впервые я почувствовал тоску по сыну так сильно, до слез.

Подождал врач, спросила, почему я не встал, чтобы побыть со всеми.

Ничего я не смог ответить, горло душили спазмы. Врач пощупала пульс, приложила прохладную ладонь к моему разгоряченному лбу, тихо сказала:  
– Спи, спокойной ночи.

Она поняла мое состояние, так как ее тоже давило горе. В Крыму в первый год войны погиб ее муж, от горя она поседела, хотя женщине не было еще и тридцати пяти лет. Я был благодарен ей за то, что она поняла мое состояние и не терзала мне душу вопросами. Вскоре я неожиданно заснул, а когда проснулся, услышал крики:

– Приехали!

Было утро нового дня. Эшелон наш поставили на запасный путь на железнодорожной станции Половинка. Старших по вагонам пригласили в теплушку начальника эшелона. Врач разрешила мне пойти туда, но выходить на работу запретила. Когда все собрались, в вагоне стало тесно и шумно. Начальства еще не было. Все спешили высказать свои первые впечатления. Среди гула голосов гремел мощный бас Сарии:

– Вот мы и на Урале!

Ему откликнулся Берг:

– Не очень приветливо он нас встретил. Когда дышишь, в носу пощипывает.

Темпераментный южанин Сарии заступился за Урал:

– Ты знаешь, Андрей, я думал, что такой сильный мороз невозможно выдержать. Но здесь он вполне терпимый, нужно только уши хорошо запрягать в шапку, да за носом следить.

– Это потому, что совсем нет ветра, – вклинился в разговор Евгений Штерн, – а вот если бы здесь был наш ростовский ветер, то был бы совсем другой коленкор.

Я добавил:

– Или сырой крымский воздух с ветерком. Так у нас на тактических учениях и при минусе пятнадцати случались массовые обморожения. Мне нигде не приходилось так мерзнуть, как в Крыму. Уж лучше уральский мороз, чем крымская зима с ее сыростью.

Опять послышался голос Сарии:

– И, правда, ребята, обижаться на здешний мороз грех. Я утром прогулялся и почувствовал себя таким бодрым, словно чистого кислорода наглотался. [...]

В теплушку вошел начальник эшелона Георгий Николаевич Баранов с сопровождающими лицами и обратился к нам:

– Здравствуйте, товарищи! С Новым годом вас! С прибытием на место назначения! Мы находимся на станции Половинка Молотовской области. Кто не бывал раньше на Урале, будет иметь удовольствие познакомиться со здешними прелестями: на улице воздух свежий, бодрящий, температура минус сорок пять. Надо предупредить людей, что страшного в этом ничего нет, но держите под постоянным наблюдением ненадежных, вернее, незакаленных, чтобы не было обморожений. Имейте в виду, любое, даже незначительное обморожение будет расцениваться как ЧП для подразделения. Это, так сказать, вводная часть, а теперь по существу. Через семьдесят два часа теплушки должны быть со станции отправлены: они нужны фронту. В нашем распоряжении менее трех дней для того, чтобы соорудить себе жилье и перейти в него. Место для палаток определено. Личный состав распределен по палаткам, старшие назначены и присутствуют здесь. Каждая группа в двадцать человек устанавливает, утепляет и облагораживает свою палатку. Чем лучше они это сделают, тем приятнее будет в ней жить. Нары будут из досок, а полы в проходах из жердей. Палатки и печки-временки можно получить. Сейчас вы узнаете, как разбиты по палаткам, получите инструменты и пойдете на место будущего городка. Начнете разгребать снег, валить деревья, выкорчевывать пни, заготавливать подтоварник и строить себе жилье. В палатки переберетесь третьего января, а четвертого приступите к строительству бараков, в которые переберетесь в феврале. Вашим руководителем назначен Иван Васильевич Кочетов.

После короткой информации Кочетова разобрали лопаты, топоры, пилы, ломы и зашагали к месту строительства палаточного городка.

Я остался в лазарете. Вечером меня навестил Сарии и поделился впечатлениями о первом дне пребывания на уральской земле. Было очень холодно, но безветренно. [...] За день удалось очистить площадку и выкорчевать часть пеньков. Еще Сарии сказал, что я стану жить в одной палатке с ним.

Второго января мне удалось уговорить врача отпустить меня, но она предупредила, что я еще не совсем здоров и поэтому должен быть осторожен.

Весь день я помогал натягивать двойную палатку. Низ палатки мы обложили хвойной лапкой и засыпали снегом. По предложению Сарии и Термана сразу установили железные печки, чтобы уже с ночи начать обогревать палатки. Все бревна и жерди мы тщательно ошкурили, а полы сделали из окантованных жердей. Внутри палатка приняла вполне приличный вид. Вместо матрацев положили на нары мешки, набитые соломой еще в Татарии.

Третьего января после обеда мы переселились в палатки. Мороз не ослабевал. В проходах топились печки, возле них было жарко, но чуть подальше температура была близка к нулю, а возле стенок и значительно ниже.

Мне выделили лучшее место – в середине палатки, и ноги чувствовали тепло. Я протестовал против такой привилегии, но Сарии отчитал меня и получил поддержку остальных рабочих. Я понял, что они это сделали от чистого сердца, и вынужден был согласиться. Сарии и Карл устроились возле двери, а остальные места разыграли с помощью жеребьевки. Баумгартнеру по жребью досталось место рядом со мной, и все одобрили это. Мне было приятно наблюдать внимание, которое проявили товарищи к самому старшему из нас и мастеру высокого класса. Теодор Кондратьевич был именно тем, кого можно было по-настоящему уважать.

Длинные зимние вечера в палатках тянулись томительно. [...]

Намаявшись за день на работе, мы ложились на свои нары. С себя снимали только валенки и размещали их вокруг печки так, чтобы они не могли загореться, но немного просушились. В темноте нечем было заняться. Лежа на своих местах, мы вели бесконечные разговоры. Сперва обсуждались события прошедшего дня, потом доходило до анекдотов и шуток, но они при нашей печальной жизни получались невеселыми. Большое место в разговорах занимало обсуждение последних известий, фронтовых сводок. Когда все темы оказывались исчерпанными, и разговоры постепенно прекращались, оставалось еще немало времени для личных переживаний, мыслей о доме, о близких, о безрадостном своем существовании.

Порою мне казалось, что часы вообще остановились. Сон не приходил...

На нарах ворочались товарищи, то один, то другой, и я понимал, что и они не спят и предаются своим мучительным думам.

[...] Мы жили в палатках очень дружно, общая беда сблизила людей. И эти дружеские отношения, эта спаянность смягчали боль от томительного существования. [...] Наконец, мы приступили к строительству барачков, однако стройка шла очень медленно, не хватало то одного, то другого. Можно было начать это строительство раньше, да и работать быстрее, но начальство лагеря уделяло первостепенное внимание устройству проволочного ограждения и установке вышек для часовых. [...]

Но вот уже заложили фундаменты для печей. Как мы радовались, что в бараках будут настоящие кирпичные печи! Мечтали о том времени, когда наша кошмарная жизнь в палатках при сорокаградусных морозах кончится, мы сможем полностью раздеться на ночь, будут окна со стеклами, появится электрическое освещение... Мы мечтали об этом так, как будто бы нас ожидал впереди дворец. [...]

Мы уже знали, что после того, как бараки будут готовы, и мы перейдем в них, начнется строительство лежневой автомобильной дороги на створ. Наше второе отделение пойдет от станции Половинка до шестого километра, а первое отделение пойдет навстречу нам от станции Широковская до двенадцатого километра. Уже строятся бараки для лагерных пунктов нашего отделения на девятом километре и для первого отделения – на пятнадцатом. Все было рассчитано так, чтобы путь до строительства дороги не превышал трех километров. Работы на лежневке будут вестись одновременно на всем протяжении и должны окончиться до мая, ибо из-за отсутствия дороги на створе создалось очень тяжелое положение с подвозкой продуктов и строительных материалов.

После длительного перерыва мы снова получили возможность слушать радио. [...] Третьего февраля вместе со всем народом ликовал и наш палаточный городок. Советские войска пленили Паулюса, только что произведенного Гитлером в фельдмаршалы.

### **Этого нельзя ни забыть, ни оправдать**

С. 69–70

[...] Все думали только о том, чтобы принести Родине как можно больше пользы. Об этом же думали мои братья и я. Брат Вигант в первый день войны обратился в райвоенкомат с просьбой, чтобы его отправили на фронт. Ему отказали под предлогом, что по положению заведующий кантонным (районным – Ред.) отделом народного образования мобилизации не подлежит, и признать его добровольцем они не могут... Вскоре его с родителями, сестрой, моими женой и сыном выселили в Казахстан.

Младший брат Оскар, когда началась война, как я уже говорил, находился в действующей армии. Под Вильнюсом он получил тяжелое ранение, после лечения в госпитале разыскал родителей и приехал к ним. Побыв немного в

семье, стал настаивать в райвоенкомате на своем возвращении на фронт. Но все было глухо.

Виганта мобилизовали в трудовую армию. Он отнесся к этому спокойно, ибо считал, что если кто-то опасается дать ему в руки винтовку, то он исполнит свой долг перед Родиной там, куда его посылают. Назначили Виганта командиром трудовой колонны. Он быстро навел в колонне порядок и, по отзывам начальства, добился хороших результатов. Однако вскоре колонну перевели на другой участок, где она оказалась за колючей проволокой. Настроение трудармейцев упало, но они продолжали работать изо всех сил, понимая, что своим трудом помогают фронту.

Оскара и других бывших фронтовиков-немцев, выписанных из госпиталей и депортированных, вызвали в райвоенкомат и сообщили, что их тоже мобилизуют в трудовую армию. Представители НКВД хотели взять мобилизованных под стражу. Молодые фронтовики возмутились и предъявили райвоенкомату ультиматум:

– Мы поедем только в сопровождении старшего офицера военкомата. Под охраной не нюхавших пороха энкаведешников не поедем. Пусть потом разбирается военный трибунал.

Разум взял верх над силой, мобилизованных отправили в сопровождении военного офицера. В Ульяновске он и передал их капитану НКВД. Им объяснили, что они будут строить железную дорогу, имеющую стратегическое значение, затем распределили по два–три человека по разным лагпунктам, где поместили за колючую проволоку.

Вот так, советские немцы рвались на фронт, а НКВД делало всё возможное, чтобы не дать им выполнить свой священный долг перед Родиной. [...]

\*\*\*

## С. 71–72

Из Татарии я попал на Урал, в Кизеллаг. Здесь ничто не напоминало трудармию, мы оказались в концентрационном лагере строгого режима. Начальник лагеря Афанасьев (настоящая его фамилия Финкельштейн) придумал оскорбительную кличку «мобнемцы» и вкладывал в нее всю свою ненависть и презрение. [...]

В марте мы переселились в бараки. Одновременно с бараками строились складские помещения, закладывалась материальная база строительства Широковской ГЭС.

В Половинке было много заключенных. Оказалось, что мы и заключенные входили в одну организацию, называемую ГУЛАГом. Узнать это было неприятно, но остроту такого открытия мы пережили, ибо уже были знакомы и с колючей проволокой и с вышками охранников. У нас не оставалось сомнений, что мы приравнены к заключенным. Разницы между нами и ими практически не было. Уголовники имели даже преимущество перед нами: каждый из них

совершил преступление и был осужден судом на определенный срок, после отбытия которого, мог ехать, куда хотел, вернуться в родные места.

А мы не совершали преступления, не подвергались суду, не знали, какой срок предстоит нам находиться в бесправном положении, но зато точно знали, что когда нас освободят, мы не сможем вернуться в родные края: большинство из нас были из республики Немцев Поволжья, а она не существовала. Мы все стали бездомными и безродными. [...]

Когда мои братья и сестра рассказывали, как тяжело было устроиться семье в Казахстане, у меня волосы на голове становились дыбом. Моя жена, русская, носила мою фамилию, и ее считали немкой. В совхозе, где она работала, ее оклеветали, обвинив во вредительстве, и судили, правда, не по 58-й статье, а по статье 109, так что она оказалась в тюрьме. Сын остался с моими старыми больными родителями и восемнадцатилетней сестрой, которая не имела ни специальности, ни жизненного опыта, тем не менее, ей пришлось содержать всю семью.

\*\*\*

С.78–82

Кончается март. Мы пережили свою первую зиму на Урале. Завершаем строительство барачков и прирельсовых складов. Почти все мобилизованные переселились из палаток в бараки. Нам предстояло строительство лежневой автодороги на створ будущей гидроэлектростанции. [...] Я попал на самый дальний участок в густой чаще леса. Таких красивых деревьев я раньше не видел. Могучие сосны гордо возносили свои кроны высоко в небо. У мощных елей зеленые ветви начинались у самой земли и распределялись пирамидально вверх по стволу, заканчиваясь острием. Меня, человека степей, завораживала открывшаяся картина. Так вот она какая, тайга... Долго любоваться не пришлось, надо было приниматься за работу – в глубоком снегу расчистить дорогу шириной в пятьдесят метров. Снег был тяжелый, и дело подвигалось медленно. На нашем участке работало около двухсот человек, но чтобы очистить его от снега, нам понадобилось более трех дней.

После расчистки трассы приступили к формированию бригад. Образовали бригады вальщиков деревьев, бригады очистки деревьев от веток и сучьев, бригады, готовившие основной материал для возведения лежневой дороги, бригады раскорчевщиков, плотников – строителей дороги, трелевщиков. Не было не только трелевочных тракторов, но и лошадей. Люди тащили бревна вручную, с помощью веревок, перекинутых через плечо, наподобие того, как бурлаки на Волге в прошлом столетии тянули лямками баржи. [...]

В первые дни, пока земля под толстым слоем снега была талой, раскорчевка пней шла споро, но как только земля, освобожденная от снега, промерзла, начались наши мучения... На помощь раскорчевщикам частенько направляли

плотников. [...] Казалось бы, наиболее простой была работа у вальщиков леса, но это не так, именно здесь происходило больше всего несчастных случаев, часто с тяжелым исходом.

А вообще-то все виды работ на строительстве лежневой дороги в непроходимой тайге, в суровых зимних условиях были невыносимо трудными, люди к концу дня выматывались до предела. [...] Наступление весны связано с обновлением природы, и обычно встречают ее люди с восторгом, но только не мы, ибо нам весна принесла новые немалые трудности. Нам приходилось теперь работать в каше из мокрого снега и талой воды. Особенно доставалось вальщикам, трелевщикам бревен и подтоварника. Несчастные люди тащили бревна через горы снега и пни, оставшиеся от спиленных деревьев, по пояс в снежном месиве. Одежда и обувь промокала насквозь. С обувью у трудармейцев было особенно плохо: лишь единицы имели кирзовые сапоги или плохонькие ботинки, большинство носило чуни, изготовленные из автопокрышек.

[...] Прошло полвека, а я не могу вспоминать то время без содрогания. Холод, недоедание и каторжная работа вершили свое черное дело. Людей начал преследовать авитаминоз, затем появилась дистрофия и пеллагра. О существовании таких болезней прежде я не имел никакого представления.

Выдерживали лишь те, кто обладал особой жаждой жизни, сильные не только физически, но и духовно. Остальные погибали.

У меня были армейские сапоги, полученные в августе 1941 года, чудо-сапоги из яловой кожи, на спиртовой подошве. В нашем восемнадцатидневном марше в ноябре 1941 года от керченского пролива до Ростова-на-Дону под проливным дождем мои ноги в этих сапогах всегда были сухими. А вот здесь, на трассе, и мои сапоги не выдерживали. От простуды спасала лишь армейская привычка иметь в запасе две – три пары сухих портянок. Как только я чувствовал сырость в сапогах, так тут же менял портянки. [...]

Вскоре трудармейцев начали преследовать массовые заболевания простудного характера и последствия истощения. Наши ряды редели, мы получали пополнения, но и они не могли восполнить потери. Людей, способных вести работы, становилось все меньше.

[...] Больница, медсанчасти лагпунктов были переполнены. [...] Многие больные становились хрониками и представляли для лагеря балласт. Содержать такую армию неработающих и не подающих надежды на то, что когда-нибудь они будут способны к физическому труду, стало невыгодно. Массовая гибель мобнемцев ухудшала показатели статистики по лагерю. Хотя она и была строго засекречена, но, так или иначе, доставляла начальству неприятности. И ГУЛАГ принял решение. По указанию сверху, в Кизеллаге создали врачебные комиссии, которые получили право – неизлечимых хроников, неспособных к физическому труду, демобилизовать, отпустить домой, к родным, чтобы они в



более благоприятных условиях могли поправить свое здоровье, а если дело закончится, выражаясь медицинским термином, летальным исходом, то это случится уже не в лагере и в статистику, ухудшающую показатели, не попадет. Комиссованные хроники считали себя счастливыми, они радовались возможности вырваться из этого ада и поехать к родным, они надеялись, что их хотя бы похоронят по-человечески.

Трагическая обстановка, сложившаяся на трассе в весеннюю распутицу, действовала угнетающе и на тех, кто еще держался, но среди немцев нытиков и паникеров почти не было. Стиснув зубы, они продолжали стоически трудиться на сооружении лежневки, стремились поскорее закончить этот проклятый объект и попасть в более сносные условия.

На створе Широковской ГЭС тоже было много немцев, их положение было не лучше, если не хуже. Они строили ту же лежневку, идя нам навстречу.

### **«На трассе дождя не бывает»**

С. 89–90

Работа на лежневке закончилась, но страдания наши продолжались. По лежневой дороге сразу же стали перевозить грузы на створ, где должно было развернуться сооружение гидроузла. Нас немедленно переключили на строительство железнодорожной ветки Половинка – Широкой. По всей трассе развернулись земляные работы.

Летом стало немного легче. Начальник отделения Виктор Ефимович Дорошенко поступил верно, направив основное внимание на те участки, которые будет труднее возводить осенью или будущей весной. Правда, здесь, на Урале, настоящего тепла еще не было, часто шли холодные дожди и дули сырые пронизывающие ветры. Погожих солнечных дней было гораздо меньше, чем дождливых. Работа на трассе не прекращалась и в дождь. Люди мокли, а над ними красовался огромный издевательский лозунг: «На трассе дождя не бывает!»

[...] Неожиданно пришло распоряжение освободить из трудармии всех болгар и направить их на фронт. Болгары обрадовались и заспешили поскорее уехать. Мы с Сарии взгрустнули по случаю расставания. У меня затеплилась надежда на изменение и нашей участи: может быть, и нам доверят защищать Родину с оружием в руках?..

Короткое уральское лето промчалось незаметно. Мы не успели погреться на солнышке и восстановить силы. Да и чем было их восстановить? Питание скверное: на завтрак немного кашеобразной массы и кружка чая, в обед – суп, его мы называли баландой, потому что это была мутная водичка без каких-либо твердых частиц, на второе – каша с соленой рыбой, изредка рыбу заменяли мизерным кусочком вареной солонины; на ужин снова жиденькая каша и чай.

Самым главным в нашем рационе был хлеб. Действительно, хлеб всему голова. Нам давали на день восемьсот граммов хлеба при условии выполнения нормы. В дождливую погоду случалось не выполнять норму, тогда выдавали штрафной паек – четыреста граммов. Это было страшно. Многие, правда, использовали подножный корм – грибы, ягоды, – но это нередко приводило к печальным результатам. И даже это не отпугивало голодных людей: при постоянном недоедании человек доходит до того, что не может трезво оценить грозящую ему опасность.

Однажды начальник политотдела Широкого Панфилов поинтересовался, почему мои люди хорошо работают и во время дождя. Я знал, что начальник политотдела доброжелательно относится к немцам, уважал его и, лишь немного поколебавшись, решился раскрыть свой секрет. А заключался он в следующем: в хорошую погоду люди работали интенсивно, перевыполняли дневное задание, но в отчете я показывал не все, часть оставлял в резерве. Об этом знал только я один, да умные бригадиры догадывались, но не выдавали меня. Резерв я использовал в дождливую погоду, добавляя его к дневной выработке, и поэтому мои бригады не лишались полноценной пайки хлеба. Несколько раз проводили контрольные замеры, но приписок не находили и заначку мою разглядеть не могли. Рассказал я это Панфилову и замер в ожидании: что-то теперь будет? В его лице гнева не появилось.

– Ну что ж, вы поступаете как рачительный хозяин, однако это не безопасно для вас, – сказал он.

У меня отлегло от души. Я знал, что Панфилов, так же как Журин, был за то, чтобы по возможности сохранять людей и не гонять их в распутицу на строительство лежневки.

### **На створе. Становлюсь гидротехником**

С. 107–111

[...] На второй день моего пребывания на Широком я с утра пораньше пошел осмотреть поселок. Он оказался совсем небольшим, значительно меньше, чем зоны, где располагались тысячи заключенных и мобилизованных трудармейцев. Затем собрался идти в техотдел, но решил предварительно заглянуть на место будущей плотины, чтобы одному хорошенько все рассмотреть.

Прежде всего, я разглядел продольную перемычку посередине Косьвы и множество людей, трудившихся за нею. Затем увидел на противоположном, левом берегу отвесную стену мощной скалы, которой уже коснулись человеческие руки. Чуть ниже по реке красовалось интересное сооружение: подвесной пешеходный мостик на канатах. Это изящное творение инженерной мысли и рабочих рук меня изумило, и я долго им любовался. За ним я увидел

еще один мост – автомобильный – и снующие с одного берега на другой грузовые машины. [...]

Мне дали отдельный стол, и я начал усердно штудировать генплан гидроузла. Сидел, пыхтел и, наконец, начал немного разбираться. [...] Впечатление у меня осталось колоссальное, поразил объем работ в котловане, на фундаменте ГЭС. [...] Жизнь в новых условиях, с ключом в кармане от собственной конуры, где можно вести себя так, как хочется, никого не стесняя, никому не мешая странностями или привычками, – что может быть желаннее! Ты свободен в своих действиях, никого не обременяешь и никому не навязываешь свое настроение. Боже мой, как хорошо! [...]

Но, как это ни странно, уже через две недели мое одиночество перестало облегчать мне жизнь. Я чувствовал в душе пустоту... у меня появилась боязнь пустой комнаты, все чаще стали преследовать мысли о том, что я здесь довольствуюсь покоем, тогда как жена, сын и родители бедствуют и, быть может, погибают. Я думал об этом вечерами и длинными, бессонными ночами. В декабре я стал привыкать к жизни на створе, круг знакомств значительно расширился. На последнем собрании познакомился с секретарем парторганизации Геймом. Константин Андреевич приветствовал меня и весьма доброжелательно вел со мной разговор. Его почему-то поразило то, что я выпускник МГУ, и он тут же сообщил, что окончил Саратовский государственный университет и был уже доцентом, а теперь вот – «мобнемец». Он был так оптимистичен, так говорил со мной, словно мы не в трудармии, а где-нибудь в вузовской аудитории.

[...] Я решил не замыкаться в своей комнате, больше общаться с людьми, больше времени проводить на плотине. Ежедневно стал задерживаться на вторую смену, а все свободное время изучал рабочие чертежи. Чем больше я в них копался, тем яснее представлял себе сооружение каменно-набросной плотины, во всех мельчайших подробностях.

Этот режим привился, и жизнь становилась более уравновешенной, монотонной. Такая монотонность меня устраивала. Всегда я был среди людей, но близких друзей не заводил, по-прежнему находился в каком-то отчуждении ото всех. [...]

\*\*\*

С.131–134

Я практически все время находился на работе, спал не более пяти-шести часов в сутки. Погарский продолжал по вечерам приходить к нам. Однажды Сергей Иванович, остановившись возле меня, проговорил:

– Смотри, какая ты важная персона: тебя охраняют чекисты. Вон, смотри, гуляют двое телохранителей и наблюдают, так и ждут, когда ты допустишь какую-нибудь промашку, чтобы привлечь к ответственности. Они, наверное,

техусловия производства работ усвоили не хуже тебя. – Помолчав, продолжал. – Ты знаешь, что возводить перемычки в условиях суровой зимы дело весьма рискованное, никто до нас не осмеливался это делать. Меня многие, в том числе и чекисты, предупреждали о том большом риске, на который я иду. Но я уверен, что наши перемычки выдержат напор весеннего паводка, и все будет хорошо. А если нет? Тогда все вспомнят, что предупреждали, давали советы не класть голову на плаху, не брать на себя больше положенного, – ничего не забудут. В первую очередь это коснется меня, как автора дерзкой затеи, но и тебе достанется. Ты знаешь, сколько у нас людей, неспособных принимать смелые решения? Очень много. Если риск кончается победой, они первыми кричат ура, но если неудачей, то поднимают крик: «Мы говорили, мы предупреждали!..»

[...] Работали в котловане ГЭС одни мобилизованные немцы. Приходилось удивляться их энергии и энтузиазму: ведь за свой труд они не получали, кроме скудного питания, никакой платы. Я любовался умелыми и красивыми действиями рабочих. Это были отличные мастера, они понимали, что необходимо подготовить сооружение к весеннему паводку, и старались изо всех сил. Здесь я встретил своего коллегу Агте, разговорились. Выглядел он плохо, осунулся, сильно похудел, под глазами темные круги, на лице ни тени улыбки. Агте жаловался, что дела идут катастрофически плохо, однако вины людей в этом нет, они делают все возможное, а порою невозможное, но подводит отвратительное снабжение. Не хватает цемента, нет нужных профилей арматуры, приходится производить замену, но часто и заменять нечем.

Люди работают самоотверженно. Такого прилежания и дисциплины я еще не видел, – говорил Агте, – хотя работаю на стройках более двадцати лет. Все это ради победы, после которой они надеются на изменение своего положения.

Да, Агте был прав. Люди в работе забывали о тоске по дому, о своем униженном положении. С молоком матери впитали они правило – трудиться честно, вкладывая всю душу. Ведь смысл жизни заключается в работе: будешь хорошо работать – будешь хорошо жить, будет в доме достаток, будут тебя уважать люди. Если ты работаешь плохо, недобросовестно, то ты пустой, никчемный человек. Таковы устои каждой немецкой семьи, такова ее немудреная житейская философия. [...]

Однажды я попал на пересменку, когда одни рабочие уходили домой, а другие шли им на смену. Мимо меня молча проходили, тяжело ступая, вконец уставшие люди. Все они были настолько исхудавшие, что одежда висела на них, как на скелетах, бескровные лица с выступающими скулами были обтянуты прозрачной, как пергамент, кожей.

Я смешался с толпой и направился к себе в зону. Рабочие шагали медленно, с трудом поднимая ноги. Меня терзало двойное чувство: сопереживание,

сочувствие к этим измученным людям и гордость за свой народ, умеющий трудиться до последнего вздоха, способный при любых трудностях доводить дело до конца. На такую самоотверженность способны только высоконравственные, любящие свою Родину люди.

Мое прорабство тоже стремительно развивалось, в нем работало уже более тысячи человек. Мне добавили двух прорабов и трех десятников. Стало легче, но я все равно продолжал задерживаться на вторую смену и все чаще бывать в котловане. Когда мне становилось трудно, и появлялись вопросы по чертежам, я по-прежнему обращался к Кириллу Ивановичу Смирнову. Он нравился мне своей доброжелательностью, мягкостью характера, простотой и доступностью. Однажды я узнал о его трагедии и поразился сходством его судьбы с моей. Его жена так же, как и моя, находилась в заключении. Она была видным специалистом в наркомате сельского хозяйства. Однажды прямо на работе ее взяли под стражу. Только через некоторое время Кирилл Иванович узнал, что его жена осуждена по 58-й статье на десять лет. Все десять лет он ждал ее. Голова его стала седой, а что творилось в его сердце, знал только он один. Передо мной у него было преимущество лишь в том, что он русский и две его дочери и теща жили с ним. [...]

В бригадах я оставался до конца второй смены, а вечером в бараке меня ожидало письмо от сестры. Оно было очень краткое и печальное: Адя сообщала о смерти отца. Умер он от голода и прободной язвы. Я впал в тяжелейший стресс, внутреннее напряжение было так велико, что, казалось, жизнь должна оборваться. Я очень любил отца, чувствовал, что и отец любит меня больше остальных братьев, хотя внешне он никогда это не показывал. Лишь в 1938 году, когда у нас родился сын, а это было в Красном Куте, отец подарил мне самую дорогую для него вещь – карманные часы марки «Мозер», которые сам он получил по наследству.

\*\*\*

С. 166–167

[...] И вот пришла долгожданная весть – Победа! В мозгу крепко отпечталось это слово, произнесенное мощным голосом любимого всеми Левитана. К измученным народам пришла долгожданная Победа. Люди ликовали. На Широкомстрое тоже все были охвачены радостью, поздравляли друг друга, обнимались, пели, а кое-кто уже ходил «под мухой». Всю ночь не спалось, душа ликовала! [...]

Мобилизованные немцы и калмыки радовались со всеми и одновременно ожидали, что теперь распустят трудармию, и они уедут по домам. Но никакой надежды на изменение нашего положения никто не подавал. И нас охватило отчаяние: посуровели лица, потускнели глаза. Чтобы окончательно не сгинуть, мы с еще большим упорством навалились на работу.

Часть немцев отправили в Нарву, готовили новый этап в Днепродзержинск. Взамен уехавшим привезли тысячу заключенных латышей, говорили, что бургомистров, советников и полицаев. Природа не терпит пустоты.

\*\*\*

С. 169

[...] Вскоре прошел слух, на этот раз радостный, о том, что калмыков скоро отпустят и разрешат им вернуться в родные края, что калмыцкие степи пустуют, никто туда переселяться не хочет, а огромная территория не должна пустовать...

\*\*\*

С. 171–172

На створе становилось совсем неуютно. Многие бараки пустели, все больше мобилизованных немцев отправляли в разные концы страны. Это не сулило близкого соединения с родными, означало лишь перемену места, и все-таки значительная часть немцев хотела бы уехать с Широкостроя в надежде на лучшую участь. Я на отъезд не имел никаких шансов, так как вел ответственную работу на сооружении плотины, и она была мне интересна.

[...] Из тавдинского лагеря приходили тревожные известия: жена болела туберкулезом. Переписка наша происходила нерегулярно, действовала жестокая цензура, часть писем, по-видимому, пропадала. После долгого перерыва я неожиданно получил письмо от жены из Махачкалы. Оказывается, ее освободили по болезни, еще до большой амнистии по случаю окончания войны. Путь в Москву для нее был закрыт, она поехала к подруге детства Ирине в Дагестан. Встретили ее радушно. Отец Ирины был старый опытный врач, он установил Зое режим и обеспечил лечение, в результате ее состояние улучшилось, и она смогла начать работу. Ей предложили место ассистента на кафедре патфизиологии в Дагестанском медицинском институте. [...]

\*\*\*

С. 185–187

Я так был поглощен работой, что совсем забыл о простой человеческой жизни, не писал писем родным и даже не ответил на два письма жены. Еще в сентябре Зоя писала, какие хорошие перспективы ждут меня в Махачкале, если я смогу туда приехать. Но если мне не разрешат уехать с Широкостроя, то она сама готова приехать ко мне на Урал. Я ответил, что в Махачкалу приехать не смогу, и вообще мне никуда выезжать с Широкостроя не разрешается. Ехать ко мне я ей не советовал, потому что здесь глухие места, в тайге даже медведи гуляют, условия жизни суровые, да и с работой будет трудно, из учебных заведений есть только семилетняя школа. Жена ответила, что ни медведи, ни тайга, ни другие трудности ее не пугают, она и без того пуганая и перепуганная, и что нам

пора соединить семью, а если для этого ей необходимо приехать на Широкустрой, то она это сделает без колебаний.

Я обратился к Погарскому с просьбой разрешить моей жене приехать. В то время ни к одному мобилизованному немцу жены не приезжали, это было запрещено. Сергей Иванович пообещал сделать все возможное, чтобы решить положительно мою просьбу. Я понимал, что это не просто, все зависит от оперчекистской части лагеря. Пятого декабря Сергей Иванович сообщил, что я могу оформить вызов и пропуск жене на конец первого квартала 1946 года.

После окончания работ на зубе плотины я оформил документы, необходимые для приезда жены, а сам лег в больницу на операцию по поводу грыжи, которую приобрел на переправе нашей артиллерии из Керчи на косу Чушка, и которая в последнее время стала меня особенно беспокоить. После операции мне разрешили навестить братьев, живущих на поселении в Сталиногорске (теперь Новомосковск), где они работали на угольных шахтах в качестве мобилизованных в трудармию. Я получил справку о том, что являюсь спецпоселенцем города Губаха Пермской области. Никаких других документов мне не дали, а о паспорте мы тогда и мечтать не могли.

Проезд по железной дороге в те времена был весьма сложным, достать билет даже в общий вагон было трудно. Но я заметил, что если обращался за помощью к железнодорожной милиции, то мне сразу устраивали билет на ближайший поезд. От меня старались поскорее избавиться, как от прокаженного. Я стал пользоваться этим и довольно быстро добрался до Москвы, где меня не задержали ни на час и, как мне показалось, следили за мной.

Встреча с братьями была трогательной. Виганта я не видел с 1939 года. Младший брат Оскар, оптимист и душевный по натуре человек, долго обнимал меня и потом вспоминал, как он одиннадцатилетним мальчиком жил у меня в Марксштадте, учился в школе и брал уроки у известного скрипача Булдыченко, вспоминал о своих проказах.

Снабжение продуктами здесь было значительно лучше, чем у нас на Широкустрой. [...] Они сделали попытку перевести меня в Сталиногорск, побывали у директора крупного химического комбината и поговорили об оформлении вызова.

Давно я не чувствовал себя так хорошо, как здесь, со своими братьями, тяжелые раздумья на время отпустили, я наслаждался общением с Вигантом и Оскаром. [...] Вигант вспоминал о своей работе в Казахстане. По приезде туда он, как и все переселенцы, работал на уборке урожая, потом учителем, директором школы, но вскоре его мобилизовали в трудовую армию. Говорил он о том, как сильно подействовало на родителей выселение немцев Поволжья и ликвидация автономной республики. Отца словно подменили, для него происшедшая несправедливость, надругательство над целым народом явилось крушением

всех его идеалов, всю жизнь он верил в социализм как образец гуманизма, и вдруг – такой удар.

[...] ...из идеи моего соединения с братьями и переезда в Сталиногорск ничего не вышло. На вызов был дан ответ, что до окончания всех работ по сооружению гидростанции меня отпустить не могут. Позже один из работников отдела кадров рассказал мне, что когда к ним поступил вызов на меня, начальник отдела кадров Филин заявил:

– Какой-то мобнемец поедет в Подмоскowie, а я буду торчать в этой дыре? Не бывать тому!

Вот так Филин и подобные ему люди легко и просто распоряжались человеческими судьбами.

\*\*\*

С. 188

[...] Вернувшись на Широкой, я твердо решил готовиться к переезду. Подал Погарскому заявление с просьбой о переводе меня в строительную лабораторию инженером-химиком, считая, что это явится первым шагом подготовки к будущей работе на химкомбинате. Сергей Иванович отнесся ко мне с пониманием, заявление подписал. Вышел приказ, но тут вмешался главный инженер Разин и отменил мой перевод в лабораторию. При этом с сарказмом заметил:

– Какой идиотизм – «химик!» – и помягче добавил: – Да ты прирожденный строитель. Пройдет время, и ты будешь благодарить меня за то, что я удержал тебя от опрометчивого шага.

И тут же пошел со мной на сооружение, где сказал:

– Посмотри, какой бардак! Алексей Иванович болен, ему надо менять климат, ты в бегах – и строительство плотины без хозяина. Берись за дело сегодня же и не помышляй ни о какой химии.

Окончательно рухнула надежда вернуться к любимому делу. Несколько утешало лишь то, что у меня был уже немалый опыт организатора производства и авторитет среди строителей.

Итак, прощай, химия, я гидростроитель. Обстоятельства жизни сильнее мечты, грешная земля держит в своих крепких объятиях, и никуда не уйти от судьбы.

[...]

\*\*\*

С. 190

Обедать домой я обычно не ходил, а однажды – будто чувствовал что – пришел. Стал разогревать еду, приготовленную накануне, как раздался стук в дверь. Я открыл – и увидел женщину, страшно знакомую. Но поверил своим глазам я только тогда, когда она произнесла: - Вилли, это ты? – и обняла меня.



Зоя, это была она, от радости заплакала, а я стоял, как чурбан, не веря своему счастью. [...]

\*\*\*

С. 199

Получил я разрешение съездить в Кизел в военкомат, чтобы получить медаль «За победу над Германией», но там, когда увидели подозрительную фамилию, потребовали военный билет. Такого документа у меня не было, и они прекрасно знали почему. Медаль не выдали. Эту несправедливость исправили только в шестидесятые годы. [...]

\*\*\*

С. 202

Подходили к концу старания огромного коллектива строителей и монтажников: на ГЭС начались пусковые работы. [...] Меня назначили ответственным за пусковые работы. Я еще не имел полного представления, что это значит, но интуитивно чувствовал, что теперь связан с ГЭС до пуска последнего агрегата. Каждый агрегат оставил в памяти заметную отметину. На Широковской агрегатов было два. Первый из них был и первым в моей жизни. А после двух агрегатов на Широковской были двадцать четыре на Камской и десять на Воткинской ГЭС. Можно представить, сколько глубоких отметин оставили они в памяти. [...]

### **Кама – любовь с первого взгляда**

С. 211

Город встретил меня радушно. Был удивительно теплый солнечный день сентября 1948 года. [...] Из садика Решетникова, с высокого крутого берега, открывался вид на широкую водную гладь. Я был поражен видом могучей красавицы Камы. Это не Косьва! Такую махину не соберешь в лоток! И несет Кама свои воды плавно, величаво, словно уверенно, с достоинством демонстрирует свою силу.

Меня, человека, прожившего несколько лет в лагерях, где я был связан по рукам и ногам и не имел права отлучиться из зоны, а должен был делать только то, что мне поручалось начальством, наступившая свобода и красоты окружающей природы радовали до глубины души. Кама овладела всем моим существом. [...]

\*\*\*

С. 212

Гайва застраивалась разрозненными участками, называвшимися зонами. Строилось пока только временное жилье, которое в будущем подлежало сносу.

Стройплощадка, куда мы ехали, зона номер три, была расположена в стороне от уже застроенной части поселка. Здесь предстояло создать целый барачный городок. Вести строительство поручалось мне. [...]

\*\*\*

С. 214

Итак, я работаю на строительстве Камской ГЭС, хотя, собственно, о строительстве самой гидростанции говорить еще не приходится. Кое-что пока делается лишь на подступах к ней. Не хватает людей, механизмов, транспорта, электроэнергии. [...] Сейчас пока не до котлована ГЭС. Самое главное – создать коллектив. Многотысячный коллектив. А для этого нужно жилье, много жилья. Вот почему руководство Камгэсстроя все внимание и почти все ресурсы направило сейчас на его строительство. [...]

### **И снова мечты. О праве быть немцем**

С. 247

К нам на Камскую ГЭС прибыло несколько берлинских эшелонов. Они доставили сюда молодых солдат, которые, опьянев от победы, находясь в Берлине и его окрестностях, допускали различные вольности. Этому способствовали и милovidные немочки, уделявшие внимание нашим солдатам и особенно офицерам. Дисциплина падала, необходимо было навести в оккупационных войсках порядок. Советский солдат в Европе должен демонстрировать высокую культуру, социалистическую сознательность и дисциплину – так отмечалось в воинских приказах. За малейшие нарушения теперь следовали строжайшие наказания. Чаще всего дело разбиралось в военном трибунале и заканчивалось приговором к длительному сроку лишения свободы. Победитель возвращался на Родину в качестве заключенного. Лагерь на строительстве Камской ГЭС пополнялся молодыми парнями, прошедшими за годы войны огонь, воду и медные трубы, и теперь работавшими значительно лучше остальных заключенных. Солдаты держались между собой дружно, а по отношению к остальным заключенным – независимо. [...]

\*\*\*

С. 248

В лагерь прибыла комиссия военной прокуратуры для проверки дел осужденных солдат, вскоре их стали пачками освобождать из заключения, подчистую, с реабилитацией. [...]

Это было что-то новое и давало надежду, что и с нами, наконец, разберутся, отменят несправедливое спецпоселение и вернут нам наши права.

Но вот закончилась и эта кампания, а нас не коснулись никакие изменения.

\*\*\*

С. 250

[...] ...в августе 1955 года меня вызвали в местное отделение милиции и сказали, что следует подготовить фотографии для паспорта, и назвали день, когда надлежит прийти за ним... Бесконечно долгими казались дни ожидания, и вот, наконец, я держу в руках паспорт... Это так взволновало меня, что едва смог произнести слова благодарности и поспешил покинуть отделение милиции. Нашел скамейку и долго сидел на ней, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. Позже знакомый начальник отделения милиции рассказывал, что при получении паспортов у многих немцев на глазах выступали слезы. [...]

С. 254

Подобные унижения испытали тринадцать репрессированных народностей Советского Союза, из них самой многочисленной явились советские немцы. Они претерпели наиболее длительное наказание и до сих пор живут рассеянными по Сибири, Уралу, Казахстану и другим регионам страны, не имея своей государственности. Мне неведома судьба печальнее нашей.